

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт мировой литературы им. А.М.Горького

МИР ФИЛОЛОГИИ

*Посвящается
Лидии Дмитриевне Фромовой-Опужьской*

МОСКВА
«НАСЛЕДИЕ»
2000

А.Г.Гродецкая
(Санкт-Петербург)

«СЕМЕЙНОЕ» И «ХРЕСТЬЯНСКОЕ» В «АННЕ КАРЕНИНОЙ»

Для реализации любимой Толстым «мысли семейной» в «Анне Карениной» особое значение имеет нравственный опыт Кити. Каждый из героев романа проходит свой путь поисков человеческого призвания, или назначения (а это важнейшие категории в теории жизнепонимания Толстого), и опыт Кити входит необходимой частью в общее знание героев, составляя один из этапов общего пути осмысления нравственной истины: «не для нужд своих жить, а для Бога»¹. Жизненные открытия Кити остаются на втором плане, однако второй сюжетный план многое проясняет в первом. Здесь определеннее авторские оценки — и когда речь идет о «серьезном душевном перевороте», пережитом Кити в Соdene, и о ее пробуждении от «жизни инстинктивной» к «жизни духовной», которая «открывалась религией» (18, 235), и о постижении «на Вареньке» того, что есть «самое важное»: «На Вареньке она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойна, счастлива и прекрасна» (18, 236). На Кити, на ее чуткости к любого рода фальши, как и «на Вареньке», испытываются сложнейшие нравственные ситуации.

Область, которую в романе доверено познать Кити, а познав, сделать выводы, — жизнь «для добра ближнего» (18, 231), благотворительная деятельность, то, что христианская традиция называет духовной милостыней. На вопрос о значении духовной милостыни церковно-учительная литература предлагает многочисленные ответы. «Нищелюбис и милостыня, — пишет исследователь Пролога А.И.Пономарев, — ставятся выше всех других проявлений доброй нравственной жизни, и в образе истинного “нищелюбца” Пролог старается собрать и представить как бы в одном целом все идеальные черты настоящего христианина, каким он должен быть, идеальные стороны настоящей богоугодной жизни»².

Не только в творчестве Толстого, в его поздней публици-

стике в особенности, но и в его реальной жизни тема благотворительности была одной из самых нравственно конфликтных, начиная со ссоры с Тургеневым в 1861 году, причиной которой стало вызывающее непризнание Толстым общепринятых норм социального милосердия. «Л.Н. сказал, что он не любит той благотворительности, которая, подражая англичанам, выбирает своих бедных ("my poor") и отделяет систематически известную, малую часть своего состояния. Что настоящая благотворительность есть та, которая вытекает от сердца и непосредственно, отдаваясь чувству, делает добро»³. Запись эта сделана С.А.Толстой «со слов Л.Н.» в 1877 году (воспоминание о мотивах ссоры с Тургеневым) и отражает ту позицию писателя, которая в полной мере проявилась в «Анне Карениной»⁴.

«Забыть себя и любить других» — главная нравственная заповедь, открывшаяся Кити «на Вареньке». Заповедь эта безусловна и сомнению не подлежит. Но, внешне простая, она для героев Толстого, от Оленина до Нехлюдова, оказывается чрезвычайно трудной, как в первой своей части — «забыть себя», так и во второй — «любить других». «Другие» не принимают отрешенной, очищенной от живых человеческих переживаний, «ангельской» любви. Предмет любви оказывается живым человеком, любовь «небесная» оборачивается живым человеческим чувством, как в отношениях Кити с живописцем Петровым. Не принимают «другие» и милостыни вместо любви. У «больных и несчастных» сострадательная любовь вызывает не ответную благодарность, а чувство оскорбленной гордости. Так Анна воспринимает жертвенную любовь Каренина и Николай Левин — духовную милостыню братьев Сергея и Константина. Весь канонизированный христианской традицией комплекс отношений между дарующим милостыню и смиренно и благодарно ее принимающим Толстой превращает в острейшую нравственную проблему. То, что традиция называет «милостью», герои Толстого называют «великодушием», различая в нем превосходство правого перед неправым, праведного перед заблудшим, благополучного перед несчастным. В сострадательной жалости и жертвенности Каренина видит великодушие не только Анна («...я ненавижу его за его добродетель. <...> Я ненавижу его за его великодушие» — 18, 449), так же расценивает отношение к себе брата Константина Николай Левин: «А, великодушие! — сказал Николай и улыбнулся. — Если тебе хочется быть правым, то могу доставить тебе это удовольствие» (18, 371). Во всех случаях Толстой саму добродетель изобража-

ет морально уязвимой. Не способная «забыть себя», она скрывает осознанное или неосознанное чувство самоудовлетворения, самодовольства. Окончательный и разоблачительный приговор духовной милостыне выносит Кити, не столько «на Вареньке» и мадам Шталь, сколько на себе испытавшая ее «выдуманность», «притворство и хвастовство», сознательный и подсознательный расчет: «...всё притворство! <...> Чтобы казаться лучше пред людьми, пред собой, пред Богом; всех обмануть. <...> Она <...> почувствовала всю трудность без притворства и хвастовства удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться...» (18; 248, 249).

Среди сюжетов церковно-христианской литературы Толстой находит один драматический сюжет, в котором встают те же этические проблемы. Это «Слово о Евлогии монахе и о нищем расслабленном». Е.Н.Купреянова уже писала об интересе Толстого к этому сюжету в 1890-е годы и о его переосмыслении в романе «Воскресение»⁵. Ссылаясь на письмо Толстого И.И.Горбунову-Посадову и Е.И.Попову от 23 марта 1892 года, она указывала на Пролог как источник знакомства писателя с историей Евлогия. «Знаете вы рассказ из Прологов, — писал Толстой, — о том, как монах взял к себе в дом с улицы нищего в ранах и стал ходить за ним, обмывать и перевязывать раны. Нищий сначала был рад; но прошло несколько недель, во время которых нищий становился всё мрачнее и мрачнее, раздраженнее и раздраженнее, и наконец, когда в один день монах подошел к нему, чтобы перевязать его раны, нищий с злостью закричал на него: не могу видеть лица твоего, уйди ты от меня, ненавижу тебя, потому что вижу, что то, что ты делаешь, ты делаешь не для меня, ты не любишь меня, а только мной спастись хочешь. Отнеси меня назад, на угол улицы. Мне легче было там, чем здесь принимать твои услуги» (66, 182). История Евлогия, однако, привлекла внимание Толстого гораздо раньше. Обнаруженная в Великих Минях Четиих митрополита Макария (под 12 сентября)⁶, она была включена писателем в «Славянские книги для чтения», изданные им в 1877 году⁷. В данном случае и хронологически «Слово о Евлогии» сопутствовало работе над «Анной Карениной»⁸.

В желании *спасти* Толстой открывает желание *спастись*. Моральный контекст в романе близок как ситуации жития, так и ситуации «Воскресения». Во всех случаях не принимается жертва, вере в ее искренность мешает подозрение в скрытой эгоистической цели — желании возвыситься за счет чужого

горя, «спастись» духовной милостыней. Моральная несвобода от скрытой эгоистической цели в «любви к другим» свойственна и Каренину, и Кити, и Левину в его отношениях к брату Николаю. Аналитический метод Толстого исследует одно и то же свойство или явление в его разных социальных, культурных, психологических вариантах, отражает в разных «зеркалах» (метод «сцеплений»). Так, духовной милостыни не чужд и Николай Левин, и оборачивается она не просто унижением спасаемого, но его нравственным истязанием (в отношениях с «взятой с улицы» Марией Николаевной⁹) и истязанием физическим (в истории с взятым на воспитание из деревни мальчиком). Психологические выводы Толстого не ограничиваются конкретными ситуациями, они в целом разоблачительны по отношению к общепризнанным, канонизированным примерам христианского милосердия.

Несомненным итогом художественного исследования Толстого звучит одна из важнейших в финале романа мыслей: «Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно имеет последствие-награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий» (19, 377).

Анализ Толстого не только художественно полон, не только, по слову К.Н.Леонтьева, «червоточив» и «придирчив», но бесстрашен и безжалостен, для него нет зон, закрытых или прикрытых каким бы то ни было авторитетом. Препятствием для анализа не является и авторитет собственной идеи или идеала писателя. Пример последнего — добродетельная Варенька. Казалось бы, авторская мысль о добре беспричинном, «безнаградном» и «неведающем» (не ведающем о том, что оно добро) в образе Вареньки представлена в чистом, так сказать, виде. «Совершенная» добродетель в лице Вареньки являет, кроме того, тип праведницы, восходящий к классическим образцам христианской литературы, прежде всего житийным. Здесь не только полное неведение о собственной добродетели, не только ежедневно и ежечасно творимые добрые дела с отречением от личных желаний и «интересов жизни», но и положение помыкаемой и униженной, и монашество в миру. Пожалуй, в творчестве Толстого это редкий пример почти полного совпадения с традиционными образами христианской литературы. «Святая» Пашенька в «Отце Сергии», с ее семейным подвижничеством, уже иначе воплощает идею праведности и служения благу ближнего. Причем то понимание истинно христианского «призвания», которое нашло выражение в «Отце Сергии», «уясня-

лось» именно «на Вареньке», она — непосредственная предшественница толстовской Пашеньки¹⁰.

При всем этом олицетворенное «совершенство» странным образом изображено в романе. В Вареньке сознательно подчеркнута не фальшь, не искусственность (она искренна), не абстрактность и нежизненность идеала (она вполне реальна), в ней сосредоточены черты безжизненности. Рисунок Толстого слишком откровенен, слишком лишен полутонов: «М-lle Варенька эта была не то что не первой молодости, но как бы существо без молодости: ей можно было дать и девятнадцать и тридцать лет <...> она не должна была быть привлекательна для мужчин. Она была похожа на прекрасный, хотя еще и полный лепестков, но уже отцветший без запаха, цветок. Кроме того, она не могла быть привлекательною для мужчин еще и потому, что ей недоставало того, чего слишком много было в Кити — сдержанного огня жизни и сознания своей привлекательности. <...> Чем больше Кити наблюдала своего неизвестного друга, тем более убеждалась, что эта девушка есть то самое совершенное существо, каким она ее себе представляла...» (18, 226–227). «Совершенное существо» лишено Толстым и возраста, и пола, и, главное, — «сердца», и это умеет почувствовать Кити: «Я не могу иначе жить, как по сердцу, а вы, — вырывается у нее, — живете по правилам» (18, 249). Неслучайной оказывается сюжетная встреча Вареньки и Сергея Ивановича Кознышева, неслучайной — неудача их «романа»: оба героя «сведены» автором по доминантному признаку «недостатка сердца». Для Толстого «недостаток сердца», или «недостаток силы жизни», не есть «недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но <...> того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного» (18, 253). Бесстрастные герои — будучи вполне индивидуальностями порознь, вместе они составляют общий человеческий тип (к нему принадлежит и Каренин) — бессильны в выборе «пути жизни». Страсть и страстность на фоне бесстрастия определяются как единственно возможный и единственно приемлемый для Толстого способ чувствовать и жить. Вспомним, что «все Левины дики» (18, 40)¹¹, как, впрочем, и все любимые герои Толстого. Исключения не составляет и внешне бесстрастный Кутузов, способный в припадках бешенства кататься по земле.

Разоблачительная логика в изображении Вареньки сложнее, чем откровенное «срывание масок» в случае мадам Шталь или

показ невольного желания «спастись» у Каренина. Толстой представляет самоотречение и жертвенность — в их традиционно-христианском понимании — противоестественными человеческой природе. Цена отказа от «блага личного» слишком велика, стремление «забыть себя» равносильно отказу от желания жить. Если «сердце», «сила жизни» и страсть как ее проявление делают искренними и истинными поступки и чувства человека, то для «недостатка сердца», бесстрастности Толстой оставляет единственную возможность — следование «правилу», что, даже без сознательного лицемерия, равнозначно исполнению «роли», т.е. «притворству». «Недостаток сердца» делает нравственно безупречную Вареньку олицетворением обмана, ее богоугодная деятельность и самоотречение кажутся Кити неискренними. Толстой требовал иного служения благу ближнего, которое «вытекает от сердца и непосредственно, отдаваясь чувству, делает добро».

То понимание «самого важного», которое открылось Кити «на Вареньке», во многом повторяет ситуацию «Войны и мира»: так духовное знание открывается Пьеру благодаря Платону Каратаеву. Отношение к «совершенному» герою в том и другом случае оказывается двойственным. Равная и ровная любовь ко всем как Каратаева, так и Вареньки, любовь к ближнему в евангельском смысле, остается идеально высокой, нравственно абсолютной, «прекрасной», но не вызывает живого ответного чувства. Отчужденная участливость приравнивается чуть ли не к безучастности. Не такая любовь «спасает» героев Толстого, заставляя «хотеть жить» и «полюбить жизнь». В итоге это опять-таки лишь возможность «спастись» в достигнутом состоянии покоя, отрешенности, отсутствия мучительного разлада между жизнью и совестью. «Круглость» Каратаева есть, помимо прочего, и метафора неподвижности, статичной замкнутости, что в системе художественных идей Толстого всегда тождественно смерти. «Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнью» (12, 61). Мысль эта реализуется сюжетно (смерть Каратаева, смерть князя Андрея). Близкое присутствие, реальность смерти или, скорее, отсутствие той страшной «черты» между жизнью и смертью, которую так остро ощущают герои «Войны и мира», поражает Николая Ростова и в княжне Марье, стремящейся «сделать невозможное — т.е. в этой жизни любить и своего мужа, и детей, и Николеньку, и всех ближних так, как Христос любил человечество» (12, 290). Радость «без-

винного страдания» (12, 158) Каратаева и счастье самоотречения Вареньки требуют невозможного — освобождения от естественных и необходимых желаний жизни, неисполнимого для «всем существом» живущего героя Толстого. В принципе это то же, что и непонятное Пьеру масонское требование любви к смерти. И еще одна параллель с «Войной и миром» существенна: близость жертвенной Сонечки и жертвенной Вареньки (ср.: «пустоцвет» — «отцветший, без запаха цветов»). В Сонечке, по замечанию Наташи, «нет <...> эгоизма» (12, 259), нет его и в Вареньке.

В итоге в «Анне Карениной» можно условно выделить следующую морально-психологическую схему. Одним полюсом в ней будет эгоизм страсти, не знающей самоотречения и жертвы, «благо личное», не регламентированное этическим законом «забыть себя и любить других». И это, по Толстому, — путь самоубийства. Другая крайняя точка — тоже смерть, тоже самоубийство — благо ближнего в качестве единственной цели, самоотречение и жертва без необходимого «эгоизма», составляющего требование человеческой природы и движущую «силу жизни». Решение Толстого, разумеется, не в соблюдении разумной меры, или середины, как в одном, так и в другом, парадоксальное решение — в соединении крайностей. Так для Пьера в равной степени остаются образцами и самоотречение Каратаева и высокий эгоизм князя Андрея. Вся полнота сердечных желаний, единственно искренних, должна слиться со всей полнотой признания этических законов, единственно верных.

Нет сомнения, что заповедь любви к другим составляет моральный абсолют Толстого, а служение благу ближнего — безусловный критерий истинного жизнепонимания. В то же время в «Анне Карениной» очевидно не принят предписанный и освященный христианской традицией путь служения благу ближнего. Признан и принят «идеал», не принято «правило». По Толстому, это «две разнородные вещи — правило, предписание и идеал» (27, 84). По Толстому, есть «два способа нравственного руководства для ищущего правды человека. <...> Первый способ нравственного руководства есть способ внешних определений, правил <...>. Другой способ есть способ указания человеку никогда не достижимого им совершенства, стремление к которому человек сознает в себе...» (27, 84–85). Таким образом, Толстой принимает христианское предание как «направление» (об этом он пишет в «Исповеди»), но не проложенный преданием

«путь». Дорога его героя, как известно, — «своя особенная» (19, 373).

«Мысль семейная» в «Анне Карениной» решает проблему примирения крайностей эгоизма и самоотречения, «блага личного» и «блага общего» и в известной мере снимает противоречие достижимости—недостижимости идеала. Нравственный опыт Кити открывает возможность самого широкого истолкования «семейной мысли». То, что не удалось Кити с чахоточным художником Петровым, удастся с умирающим от чахотки Николаем Левиным — здесь нельзя не видеть повтора ситуации, а значит, и авторского «сцепления». Осознание себя сестрой и братом — этот момент подчеркнут Толстым — для Кити и умирающего Николая, как и для наблюдающего за ними Константина Левина, становится подлинным духовным открытием. Как и переживание братской любви Карениным, здесь дорогу евангельскому чувству открывает близость смерти, смерть освобождает духовные отношения от бремени внешней телесной оболочки. Но дело не только в этом. За отношениями реального семейного братства открывается реальность иного братства. Можно сказать, что ближнего Толстой заменяет близким, что не случайно. Забота о близком, в отличие от служения отвлеченному «ближнему», есть требование необходимости, а не «выдуманности». Составляя прямую обязанность, эта забота исключает признание «заслуг подвига» и возможность какого бы то ни было «хвастовства» перед собою, другими, пред Богом. Все моральные сомнения, таким образом, снимаются. «Семейную» мысль выражают и отношения материнства, в такой же мере христианизированные, как и отношения братства. И в них постоянная, необходимая и невознаграждаемая материнская жертва ради детей (пример Долли в первую очередь¹²) соединяется с естественным эгоизмом «блага личного».

«Мысль семейная», заменяющая ближнего близким, не упрощает решения проблемы, как может показаться, но выражает требование той же степени непосредственного и невыдуманного сердечного участия к ближнему, что и к близкому. Это модель, или эмблема, истинных человеческих отношений, а для главного героя — и школа таких отношений.

Изначальное, естественное, инстинктивное, «неразумное» знание женщиной (и Долли, и Кити) своего «призвания» в семейном, материнском и сестринском служении — семейное исповедничество, если использовать высокое церковно-книжное определение, становится для Левина, а впоследствии и для отца

Сергия, что не менее важно, одним из решающих уроков на пути постижения цели и смысла жизни. Это урок признания необходимого, Богом положенного и заповеданного перед случайным, условным и «выдуманным». Именно так истолковано семейное служение женщин в последней главе трактата «Так что же нам делать?» — как «назначение их жизни», как «неизбежный», «неизменный закон», как «исполнение воли Божией» и главный спасительный пример для всех, забывших закон и отступивших от него, как прямое указание истинного пути жизни (см.: 25, 406–411).

«Мысль семейная» в эпилоге романа становится эмблемой еще более широкого плана. Среди многих необходимых забот и обязанностей, составляющих основу жизненного дела Левина, есть и такая: «Нельзя было не делать дел Сергея Ивановича, сестры, всех мужиков, ходивших за советами и привыкших к этому, как нельзя бросить ребенка, которого держишь уже на руках» (19, 372). Существенно, что в одном «семейном» ряду здесь стоят брат Левина, сестра и «все мужики», причем отношения братства дополняют, усиливая их «семейное» качество, отношения отцовства-сыновности.

Проще всего усмотреть здесь идеализацию патриархальной семьи-хозяйства, приписав соответствующую патриархальность взглядам Толстого. Едва ли это будет ошибкой, однако составит лишь часть истины. Семейно-хозяйственная модель приобретает в романе всечеловеческий масштаб. В приведенном выше отрывке идея братства и идея сыновности не случайно оказываются сведенными: люди-братья — это сыновья одного Отца. И несомненно — работники одной семьи, одного хозяйства, поля и виноградника. Обязанности родственно-хозяйственные в итоге осознаются и исполняются как обязанности религиозные, они-то и открывают путь вере. Идея всечеловеческого «семейного» единения снимает противоречие «блага личного» и «блага общего»: забота о семье остается удовлетворением природного «эгоизма», одновременно «мысль семейная» как общее миросозерцание позволяет в ближних увидеть детей и братьев и в служении им открыть истину жизни «для души, для Бога».

Важнейшим, логически необходимым звеном такого обращения в единую семью людей чужих, даже враждебных друг другу, звеном, не только не пропущенным Толстым, но, в свою очередь, подвергнутым им тщательному анализу, становится сам момент осознания ближнего — близким, вернее сказать,

момент переживания любви к ближнему как непосредственно, не «выдуманного» и не «правилом» предписанного чувства.

Единственным и главным условием для осознания отношений истинного братства становится общий труд, исполнение обязанности труда, поддерживающего, «несущего» жизнь, труда для «блага целого». Впервые прилив особого рода чувств близости, родства, любви, даже нежности Левин переживает во время косьбы с мужиками Калинова луга (часть третья, гл. IV–V). К старику, с которым косит, он, по словам Толстого, «чувствовал себя более близким <...>, чем к брату, и невольно улыбался от нежности, которую он испытывал к этому человеку» (18, 268). Именно во время косьбы для Левина наступают минуты легкости и забытья, бессознательного подчинения некоей высшей силе, не менее «властной», чем та, что подчиняет Каренина, но силе «благой», способствующей проявлению братской любви¹³. Вслед за косьбой и уборка покоса (часть третья, гл. XI–XII) изображается реальной основой и одновременно образно-символической параллелью пробуждающегося чувства любви. В стихии (в море) общего труда просыпается «молодая», вполне земная любовь в крестьянской семье Ивана Парменова. Поэтизируя и одушевляя крестьянский труд, Толстой, быть может, наиболее близок традиции — фольклорной в первую очередь. Метафора «косить-любить», как и «пахать, сеять, сажать, полоть-любить» — одна из самых распространенных в народном поэтическом творчестве¹⁴.

Однако крестьянский труд изображается не только источником природного, естественного, здорового — «законного» — чувства, но и иной любви. Вспомним известный эпизод, в котором Левин с копны наблюдает за идущим с покоса народом, чуждый «этой радости жизни», с «тяжелым чувством тоски за свое одиночество, за свою телесную праздность, за свою враждебность к этому миру». «Некоторые из тех самых мужиков, — пишет Толстой, — которые больше всех с ним спорили за сено, те, которых он обидел, или те, которые хотели обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обмануть его» (18, 290).

Символичен подбор слов в этом отрывке: спор, вражда, обида, обман, зло. Не впрямую, но достаточно ясно здесь звучит мысль о забвении обид и прощении обидчика, о победе над «духом зла и обмана». Толстой идет дальше только поэтизации

земледельческого труда — к его очевидной сакрализации, к отождествлению крестьянского и христианского, возвращая в слове «хрестьянский» единый смысл двум исторически разделившимся понятиям. В «Анне Карениной» нашло выражение представление о святости «хлебного труда» — та истина, которую позднее, по собственному признанию писателя, ему «осветил» и «уяснил» мужик Бондарев (см.: 25, 386). Она же составила суть толстовского исповедания веры и социальной проповеди в заключительных главах трактата «Так что же нам делать?». Здесь мужицкий труд предстает природным, естественным «законом жизни» и вместе — Богом предписанной обязанностью, это «закон Бога или природы», «телесная и духовная потребность» (25; 381, 388). Праздность — в тех же категориях — «противоестественна» и «безбожна» (25, 388).

Крестьянский труд, по Толстому, снимает противоречие личного и общего: капля труда вливается «в море общего труда» (25, 384), капля-жизнь вливается в море-жизнь. И в заключительных главах трактата «Так что же нам делать?», и в эпилоге «Анны Карениной» вновь повторяется найденная в «Войне и мире» метафора сущности жизни, или сущности отношения «пузырька-организма» (19, 370) к пространственной и временной бесконечности как отношения живой части к живому целому. Крестьянский труд снимает и противоречие телесного, плотского, «животного» (природного) и духовного (божественного).

В движении главного героя к «перевороту» особое значение имеет и еще один «крестьянский» эпизод романа, определивший решение Левина «перевернуть всё прежнее хозяйство» (18, 358). Это впечатление «благоустройства» в семье-хозяйстве «мужика на половине дороги» (часть третья, гл. XXV). «Половина дороги» в имение Свяжского — очевидная метафорическая веха на пути познания главного героя. «Благоустройство» — не вполне обычное для словаря Толстого слово — объединяет два ключевых понятия романа: понятие «благо», выражающее единственный постигаемый смысл человеческой жизни, и «устройство» — то важнейшее внешнее и внутреннее состояние, к которому так или иначе стремятся все герои романа, начиная со Стивы с его верой в «образуется» и кончая Левиным с его заботой о новом «устройстве» хозяйства и мыслью о том, как «уложатся» новые условия в «переворотившейся» России. Вторая «половина дороги» сделает Левина-наблюдателя — обладателем и семьи-хозяйства, и душевного «благоустройства».

Сцены «крестьянского» труда в «Анне Карениной» насквозь

проникнуть евангельскими мотивами. Помимо идеи сменяющего вражду любовного братства (любовь Левина к мужику есть, несомненно, любовь к врагу — врагу экономическому и социальному; тема непримиримой, органической враждебности между мужиком и барином составляет социальный аспект общей в романе темы враждующих человеческих волей); здесь и символическая параллель с евангельскими работниками¹⁵; здесь и реальное причастие Святым Дарам, внецерковное причастие; и воплощение мотива легкого бремени и благого ига; здесь и развитие темы страды-страдания, страды-самопожертвования, жертвенного подвига («вольного страдания», «вольной жертвы»), если использовать ставшие классическими определения Г.П.Федотова, страдания «в последовании Христу»). Последнее особенно важно. В романе есть слова о народном «самопожертвовании в труде, какое не проявляется ни в каких других условиях жизни» (19, 374), о постоянной народной готовности к труду, унижениям и жертвам (19, 392; ср. в черновиках: «самопожертвование» в хозяйственной деятельности Левина — 20, 12; в «Так что же нам делать?»: «сознание жертвы в исполнении труда» — 25, 391). Крестьянский «хлебный» труд приравнивается к христианскому призванию (ср. в «Так что же нам делать?»: сознание «призвания труда» — 25, 390). Именно поэтому в страду нельзя отпустить работника хоронить отца («Нельзя было простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой потому, что у него отец умер, как ни жалко было его...» — 19, 373). В число хозяйственных заповедей Левина входит и эта, повторяющая евангельскую притчу (ср.: «Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» — Мф. 8:21–22; Лк. 9:59–60). Не случаен в этом ряду евангельских ассоциаций и образ врезавшегося в землю плуга (19, 372), символ бесповоротного пути главного героя (ср.: «никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» — Лк. 9:62).

Земледелие уподобляется христианской проповеди, проповеди наглядной, живой и, главное, деятельной (убеждают, по Толстому, не рассуждения, только действия), проповеди, которая, как и всякая проповедь, призывает к необходимой перемене жизни.

Земледелие приравнивается к христианскому миссионерству. Как известно, во время работы над последними частями «Анны

Карениной» Толстого увлек новый замысел — роман о русских переселенцах, в основу которого легла именно эта идея земледелия-проповеди. В дневнике Софьи Андреевны имеется не раз цитированная запись (3 марта 1877 года): «...в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле *силы за-владевающей*». Далее — о том же, о завоевании земель (киргизских степей, т.е. диких, языческих пространств) «не войною, не кровопролитием, а этой русской земледельческой силой русского мужика»¹⁶. 25 октября 1877 года — еще одно признание: «...главная мысль будет народ и сила народа, проявляющаяся в земледелии исключительно»¹⁷.

В «Анне Карениной» найдено буквальное, реальное воплощение евангельского слова и образа. Если в новозаветных текстах проповедь уподоблена пахоте, сеянию семян, то части богословской метафоры Толстой как будто меняет местами (пахота — проповедь) — и притча обращается в быль. Здесь есть утилитарная логика, с одной стороны, и особый эффект чисто художественного допущения — с другой. В.Г.Короленко, как известно, всю толстовскую проповедь с ее упрощенными ответами на сложнейшие социальные вопросы называл «вещим художественным сном», объясняя ее богатым воображением Толстого-художника, придающим поэтическому образу силу реальности¹⁸.

Нет необходимости оговаривать специально, что христианская окраска крестьянских сцен романа не превращает их в утопические картины. В них нет не только идиллических, но и успокоенных тонов, напротив, преобладают тона от тревожных до грозных. «Море» крестьянской жизни, «туча с громом» народной «дикой развеселой песни» (18, 290) скорее напоминают о «пучине жизни». Нет в эпилоге «Анны Карениной» и чистых радостей детской. Неустойчив и семейный мир Левиных — слишком приближены к нему несчастье Долли и трагедия Анны. Семейный «край», кроме того, уже чреват «адам» «Крейцеровой сонаты». Не обещает постоянства и душевное «устройство» главного героя после пережитого им переворота. Все «открыто» в «открытом» финале романа.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1935. Т. 19. С. 377. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

² См.: Памятники древнерусской церковно-учительной литературы /

Под ред. проф. А. И. Пономарева. Вып. 2-й: Славяно-русский Пролог. СПб., 1896. С. XXIV–XXV.

³ Толстая С.А. Дневники: В 2 т. М., 1978. Т. 1: 1862–1900. С. 509.

⁴ Девочка-англичанка, воспитанница Анны (часть седьмая, гл. X), и есть образец отвергаемых Толстым «ту роогс». Анна не скрывает искусственности принятой на себя «роли», не обманывая ни себя, ни других, и именно ее искренность покоряет Левина.

⁵ См.: Купреянова Е.Н. Эстетика Л.Н.Толстого. М.; Л., 1966. С. 281–282.

⁶ Работая над «Азбукой» (1872), Толстой пользовался изданием: Памятники славяно-русской письменности, изданные Археографической комиссиею. I. Великие Миниеи Четию. Сентябрь. Дни 1–13. СПб., 1868.

⁷ См.: Первая славянская книга для чтения гр. Л.Н.Толстого. 2-е изд., испр. и доп. М., 1877. С. 24–30.

⁸ Вне всякого сомнения, к «Слову о Евлогии и о нищем расслабленном» Толстой обращается и в трактате «Так что же нам делать?», где благотворительность составляет одну из центральных тем и изображается как один из главных «обманов» в «страшной тьме заблуждений» (25, 241) современной жизни. В главах 15 и 16, посвященных «чисто личной» стороне благотворительности, есть такое признание: «Если же я неделями, месяцами, годами следил за бедным и помогал ему, и высказывал ему свои взгляды, и сблизился с ним, то отношения с ним становились мукой, и я видел, что бедный презирает меня. И я чувствовал, что он прав <...> вы не можете не дать ему еще, не можете никогда перестать давать ему, если у вас больше, чем у него. А если вы попятитесь, то вы этим самым показали, что всё, что вы ни делали, вы делали не потому, что вы добрый человек, а потому, что перед людьми, перед ним хотели показаться добрым человеком» (25, 238–239). Есть в 16-й главе трактата и прямое заимствование: «Я весь расслабленный, ни на что не годный паразит, который может только существовать при самых исключительных условиях, который может существовать только тогда, когда тысячи людей будут трудиться на поддержание этой никому ненужной жизни. И я, та вошь, пожирающая лист дерева, хочу помогать росту и здоровью этого дерева и хочу лечить его. <...> И я-то, этот убогий человек, вообразил себе, что я могу помогать другим и тем самым людям, которые кормят меня» (25, 246). Пример этот чрезвычайно характерен: особой силы публицистический эффект производит и перемена «ролей», и широчайшее социальное обобщение.

⁹ Тема эта — гаршинская («Происшествие», «Надежда Николаевна»). «Жестокый» драматизм повестей В.М.Гаршина, безусловно, далек от художественных принципов Толстого, но в нравственной оценке роли «спасителя» Толстой и Гаршин близки.

¹⁰ У Вареньки и Пашеньки общий прототип — приемная дочь А.И.Остен-Сакен, тетки Толстого; см.: Толстой С.Л. Об отражении жизни в «Анне Карениной» // Лит. наследство. М., 1939. Т. 37–38. С. 576.

¹¹ Это слова Стивы Облонского; ср. оценку брата Кознышевым: «Вообще ты натура слишком *primésautière* <импульсивная, непосредственная>, как говорят французы; ты хочешь страстной, энергической деятельности или ничего» (18, 273).

¹² «С тех пор как он <Левин> был женат, он в первый раз в жизни через очки своей жены увидел одну половину мира, женскую, такую, какая она есть в самом деле, <...> и Долли в ее настоящем свете из простой, доброй и какой-то забитой, незначительной женщины выросла в героиню <...>, и он испытывал к ней, кроме любви, набожное чувство уважения...» (20, 464).

¹³ Убедительную интерпретацию сцены косьбы как процесса богопознания предлагает Р.Гастафсон (см.: *Gustafson R. Leo Tolstoy: Resident and Stranger. A Study in Fiction and Theology.* Princeton, 1986. P. 423–426).

¹⁴ См.: *Адрианова-Перетц В.П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947. С. 60.

¹⁵ Сравнение с работником евангельской притчи, здесь только подразумеваемое, войдет открытым текстом в рассуждения о женском, материнском труде-подвиге в трактате «Так что же нам делать?» (см.: 25, 409).

¹⁶ Дневники Софьи Андреевны Толстой. М., 1928. Ч. 1: 1860–1891. С. 37, 38 (в данном случае цитирую по первому изданию, т. к. в изданном в 1978 г. двухтомнике те же записи даются с не оговоренными купюрами; ср.: *Толстая С.А.* Указ соч. Т. 1. С. 502).

¹⁷ *Толстая С.А.* Указ соч. Т. 1. С. 504.

¹⁸ См.: *Короленко В.Г.* Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988. С. 141–150.